



ОЛЬГА ПТИЦЕВА

ТОЖЕСТЬ

18+

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Ольга Птицева
Тожесть. Сборник рассказов

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Птицева О.

Тожесть. Сборник рассказов / О. Птицева — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Сборник короткой прозы, объединенной сквозной темой времени. Время здесь и герой, и причина событий, свершающихся с героем, и процесс, несущий в себе все последствия его выборов и решений. Подвластный времени человек теряет себя прежнего, оставаясь в итоге один на один с временем, что ему осталось. Взросление приводит к зрелости, зрелость - к старости. Старики и дети, молодые взрослые и стареющие молодые — время ведет с каждым свою собственную игру. Оно случается с каждым, и это объединяет нас. Потому что все мы когда-нибудь тоже. Рано или поздно. Все мы тоже. Оформление обложки - Марина Козинаки. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Бабариха	5
Тожесь	8
Принесите счет	14
Катя	14
Глеб	17
Янка	19
Денис	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Бабариха

Бабарихой прозвала ее Лерка. Как-то легко так вышло – ба-ба-ри-та-Ба-ба-ри-ха. Сама Лерка от горшка два вершка, зато стихами шпарила, только так. По вечерам вытягивалась в струнку и начинала с самой первой строчки:

*Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком.*

А когда доходила до главного злодеяния, то звонкий голосок ее взмывал к потолку хрущевки, задевал люстру, покачивал пыльный хрусталь.

*А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Делала трагическую паузу и начинала хохотать.*

– Это про тебя! Про тебя!

В ответ Бабариха ворчала недовольно, мол, дурь это все, но в груди у нее становилось тепло-тепло, и дрожало что-то, и даже хотелось плакать.

Леру к ней привезли на лето. Тамарка передала, как эстафетную палочку.

– Мне в командировку. – И отвела глаза. – Я денег оставлю.

Бабариха сразу поняла, какая там командировка. Видать, про ребенка хахалю не сказала, вот и прячет. Но деньги взяла, и Лерку тоже.

Жили они хорошо, внучка оказалась бойкой. Как побежит, только пятки сверкают. Друзей нашла тут же, охламонов всяких, носилась с ними с утра до вечера, домой забегала, жадно пила из чайника, и обратно.

– Мы шалаш строим! – кричала в дверях.

Или.

– Кошка котят родила!

Или.

– Мяч продырявился, надо клеить!

Бабариха ее не слушала. Терла клеенку на кухонном колченогом столе, до скрипа терла, чтобы ни пылинки, ни жиринки не осталось. Но то и дело поглядывала во двор, где там попрыгунья ее, где стрекоза? А вечером, когда спадала жара, а в кустах поднимался стрекот цикад, они садились рядом и ели черешню, пока Лера не засыпала, привалившись к бабкиному боку. Бабариха ждала этого целый день, замирала, слушала, как дышит рядом живое и теплое, и сама становилась такой – живой и теплой.

Тамарка вернулась в конце августа. Загоревшая, худая, с тревожным блеском в глазах. Наскоро обняла дочку, оглядела дом:

– Ну и чистота у тебя, мать, нежилая какая-то... Как в морге. – Повернулась к Лере. – Собирайся давай, машина ждет.

Лерка пискнула, схватила Бабариху за руку, замотала головой – тонкие косички с цветными резинками на концах тут же растрепались.

– Не хочу...

– Собирайся, кому говорят!

Лера спрятала лицо в складках бабкиного халата, даже ввевшийся запах прогорклого масла не отпугнул. Так и стояла, подрагивая, пока Тамарка швыряла ее вещички в сумку, все эти платица, футболки линялые, даже пижаму с пятнами от черешни – не успели застирать. Бабариха молчала. Весь август она ждала, что их хорошая жизнь закончится. Вспоминала, как росла Тамарка – колючая, как репей, жгучая, как крапива под забором. Смотрела на внучку,

никак понять не могла, откуда тепла в ней столько, где хранится оно в костлявом Леркином теле? И вздрагивала от шагов на лестнице, кидалась к окну, когда во двор заезжала машина. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так в понедельник. Лето закончилось, Лерке в школу пора.

– Пушай едет, – уговаривала себя Бабариха. – Я тут ничего, обвыкну.

А когда Тамарка и правда приехала, то Бабариха обмерла вся. Ни слова не сказала. Лера все цеплялась за халат, волосы липли к мокрым щекам. Тамарка тянула ее к двери, что-то приговаривала сквозь зубы.

У Бабарихи в ушах стоял такой гул, будто стиралка старая простынь отжимает, но крик, разорвавший пыльную тишину крохотной прихожей, она услышала.

– Бабариха! – закричала Лера, рванула по коридору, обхватила тонкими ручками.

Тамарка вытолкала дочь за порог, подняла сумку.

– Как доберемся – позвоню.

Может, и правда позвонила. Бабариха так и не вспомнила. Заперла дверь, доковыляла к дивану, рухнула и провалилась в темноту. А проснулась уже сломанной. Важная деталь надломилась в ней, ни исправить, ни заменить. Может, потому и потянуло ее к мусору, богу-богово, кесарю-кесарево, а ей, как заведено, – Бабарихово.

...К бакам она шла после обеда. Брала авоську, брала костыль – вместе с чем-то важным в ней и ноги поломались, отказывались ходить, и ковыляла на соседнюю улицу, к новостройкам.

– Барчуки, – ругалась себе под нос Бабариха. – Вон какая простыня хорошая, а они в мусор! Это я зашью, тут застираю! Лерка приедет, постелю.

Чашка без ручки, сама синенькая, а цыпленок на боку желтенький? Так Лерка цыплят любит, чего не взять? Или подушка, чем не хороша? Сигаретой прожженная? Заплатку можно поставить! Лерка держать будет, а она, Бабариха, шить. Так авоськи и набирались. Растрепанные книги, чтобы Лерка читала, медведь без лапы, чтобы жалела, вазочка для сирени, вечно ведь оборвет полкуста, а ставить некуда.

Авоськи Бабариха тащила дворами. Все боялась, что спросит кто-нибудь, мол, куда это ваша Лера подевалась? А она возьмет и расплачется. Или упадет замертво. Изъян оголится, сломанная деталь выскочит из груди, расколется об асфальт. Лучше уж никого не видеть, молчать себе, перебирать все эти книжки-подушки, представлять, как обрадуется им Лера.

Когда зачастили холодные дожди, Бабариха переобулась в найденные калоши, натянула поверх халата потертый тулуп – большой ей, с чужого плеча, зато почти целый, один только клочок вырван из рукава, но привычкам своим не изменила. Шла на помойку дворами, вопросов ей никто не задавал, но охламоны местные совсем измучили. Швыряли камнями, вопили в след:

– Бомжиха!

– Не бомжиха, а Бабариха, – хотелось ответить им, но язык не слушался.

Пахло от нее тяжело, руки покрылись цыпками, под ногтями грязь. Так ведь некогда мыться, скоро Лерка приедет, надо ей подарочков натаскать. Только не хворать бы, а то ноги совсем не идут, грудь давит, дышится через силу. Это все деталь проклятая жить не дает. Но Лерка приедет, и хорошо все будет. Хорошо.

Почтальон Бабариху обходил за три дома, прятал пухлую сумку, озирался испуганно и спешил перейти дорогу. Бабариха знала крепко, что там, среди подписных газет, чужих писем и весточек, обязательно лежит особенная – ее. Представляла, как расплзается по цветной стороне открытки россыпь ромашек, а на другой старательным детским почерком выведено что-то важное, теплое и живое. Что-то, могущее починить деталь. Надо только догнать почтальона, потребовать свое. Да ноги не идут, как догонишь?

Куклу в ситцевом платье Бабариха нашла зимой. Кто-то посадил ее на крышку бака, чтобы собаки не погрызли. С собаками Бабариха дружила, делилась просроченной колбасой,

гладила по мохнатым спинам. Куклу они не тронули. Почуяли, паршивцы, что не кукла это вовсе – Лерка. Даже косички те же – две, а на кончиках цветные резинки. Сейчас вытянется в струнку и начнет читать про остров Буян.

Бабариха схватила ее, засунула под тулуп, прижала к груди. Холодная! Бросила авоську на снег, распугала собак, понеслась, не разбирая дороги. А губы сами собой:

*Родила царица в ночь,
не то сына, не то дочь,*

Лерка под тулупом начала согреваться. Бабариха забежала домой, споткнулась о коробку с гнилым тряпьём, отшвырнула дырявую кастрюлю, попала в стопку прошлогодних газет, и они посыпались на пол, будто мертвые птицы с перебитыми крыльями. Но какое дело до них теперь, когда Лерка приехала? Только бы черешню найти, и совсем хорошо будет. Бабариха повалилась на диван, прикрыла собой пластмассовое тельце и начала шептать:

*Кабы я была царица, –
Говорит одна девица,
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.*

Темнота укрывала их надежней чужого тулупа, пахло черешней и ранним августом. Лерка дышала под боком, живая и теплая, стрекотали цикады. А когда пир закончился, и царь Салтан отпустил всех домой, то Бабариха вздохнула последний раз и тоже себя отпустила.

Тожесть

Звонок вворачивается в сознание, пробивает застывшую корку, вгрызается в живое. Я открываю глаза. В комнате тускло, но светло. Так бывает, когда свет проходит сквозь серую пленку туч, по ходу движения теряя яркость. Значит, еще день. Не позже четырех. Поворачиваю голову, в шее скрипит, тупая боль поднимается от холки к своду черепа. Щупаю под собой. Где-то должен быть телефон. В нем время. Вот так задремлешь днем, проспишь час, а по ощущению – года три, не меньше. Да где же, мать его, телефон?

Поднимаюсь рывком. Комната медленно уходит по дуге вправо, а диван, и я вместе с ним, влево. В глазах двоится. Я трясусь головой. Не помогает. Раздается еще один звонок. Короткий. Тревожный. И еще. И еще. Кого там принесло, Господи? В такое-то время. Кстати, в какое? Под непрерывную трель звонка ощупываю диван – складки, крошки, катышки. Телефона нет. На зарядке, успокаиваю себя, и все-таки поднимаюсь.

Ноги сходу попадают в тапочки. Широкие, истоптанные, мерзко влажные внутри. Пока я иду, неловко шаркая, звонок захлебывается негодованием. Воцаряется короткая тишина, и в дверь начинают барабанить.

– Откройте! Откройте! Вы там? Откройте!

Пытаюсь идти быстрее, но шаги даются тяжело. Мышцы ноют, будто я весь прошлый вечер простояла в планке. Или отплясывала в баре до утра, что куда вероятнее. Точно! Бар. Вот почему все так тускло, муторно и тяжело. Бар. Перебрала лишнего и ничегошеньки теперь не помню.

– Откройте! Откройте!

– Сейчас! Иду! – кричу я и сама пугаюсь голоса.

В глубине прихожей темно, свет из комнаты глохнет еще в коридоре, и я долго копаюсь с замком, пальцы не хотят вспоминать, как он работает, куда нажать, где повернуть. Дверь открывается с надсадным скрипом.

– Уже подумала, случилось чего... – говорит кто-то смутно знакомый. – Я зайду?

Отхожу в сторону, чтобы пропустить. Чужой запах щекочет ноздри – мокрая улица и тяжелый парфюм, что-то церковное, связанное, но забытое. Гостя проходит в коридор, долго и без смущения смотрит на меня. Сама она расплывается, я смаргиваю, но четче не становится. С облегчением понимаю, что проснулась без линз, и шурюсь, пытаюсь разглядеть так. Молодая женщина, высокая, волосы подстрижены, кончики вровень с мочками без серег, брови подведены ярко, а глаза совсем чуть-чуть.

– Откуда я тебя знаю? – хочется спросить, но не спрашиваю.

Будет странно. Если ей можно приходить, стучать, смотреть, значит мы знакомы крепко. И давно.

– Привет, – говорю я, а голос подводит, кряхтит, как поломанный транзистор.

– Здравствуйте, – уголки ее губ нервно подрагивают. – Как вы? Ничего?

– Ничего.

– Как самочувствие?

Замираю. Станный вопрос, заданный странно. Напряжено заданный. Нехорошо. Вот же черт. В животе скручивается узел. И я понимаю, что мне страшно стоять тут в дурацких тапочках на босу ногу и отвечать на ее вопросы. Страшно. И холодно.

– Ты зачем ко мне?..

– Ну как же? Проведать. Четверг.

Она стягивает куртку, скидывает ботинки, идет к ванной. Там вспыхивает свет, шумит вода. А я продолжаю стоять в двери. Мир продолжает покачиваться и расползаться. Тело про-

должает мякнуть и болеть. Тапки продолжают быть сырыми и разношенными. Словом, ничего не меняется, кроме деятельного мельтешения чужих шагов по моей квартире.

– Эй, ты! Пошла вон! – крутится на языке, но я молчу.

– Я печенье принесла, – кричит она из кухни. – Будете?

Горло хватает тошнотой, желудок виснет в вакууме.

– Будете? – переспрашивает она с нажимом.

Я хватаюсь рукой за стену и тащусь на кухню. От скрытой угрозы в ее вопросе топорщатся волоски на руках. Я иду очень медленно. В моем теле уменьшилось количество костей, суставы перестали сгибаться, атрофировались связки, одряхлели мышцы. Мне хочется пощупать себя, проверить, все ли месте. Но руки заняты – я держусь за стены узкого коридора. Пальцы скользят по засаленной полоске с обеих сторон. Словно кто-то ходил здесь, ища опоры, много лет. Я точно знаю, что обоим новые. Сколько им? Год? Два?

Пока плетусь и вспоминаю, вспоминаю и плетусь, успевает вскипеть чайник. Я вижу только очертания стола, остальное размазано тонким слоем. Опускаюсь на ближайшую табуретку, предварительно нащупав ее перед собой, как слепая. Что я такого выпила вчера? Что приняла, чтобы так крыло?

– Вам с сахаром?

Качаю головой, не надо сахар, не надо, печенье же. Чувствую сдобный дух, тянусь наощупь – жестяная коробочка распахнута, в ней кругляшки, обсыпанные сахаром с каплей джема в центре.

– Курабье, – хватаю одно, подношу к губам, узел в животе набухает, и я не могу откусить долбанное печенье, пока не услышу:

– Угощайтесь, – разрешает она и садится напротив, слишком близко.

Печенье дерет горло, я запиваю его чаем, обжигаю язык, морщусь.

– Не спешите.

И я уже почти готова выплеснуть кипяток ей в лицо. Чашка дрожит в пальцах, пытаюсь разглядеть ее, но ни черта не вижу. Не вижу. Не-ви-жу.

– Вкусно?

Киваю.

– Угадала, значит, – ее голос теплеет. – Все думала, какие вы с мамой любили.

С мамой? С чьей мамой? Моей? Она не любит сладкое. С ее? А кто ее мама? Узел стискивается все крепче.

– Как там погода? – спрашиваю я, кроша кусочек печенья на кусочки поменьше.

– Дожди начались. Ночью заморозки уже.

Меня колотит озноб, ледяные ноги мокнут в тапках, и я послушно киваю, мол, да, заморозки, да, начались.

– А вы сами-то давно уже не выходили?

– Куда?

– Наружу, – слово впечатывается в меня, пригвозждает к месту.

– Вчера была, – вру я, размазывая джем по столу.

Она молчит. Сердце успевает дважды тяжело сжаться и разжаться, болезненно ворочаясь в груди. Узел скрипит кишками, смальвает печень, рвет надпочечники, и адреналин разгоняет густую кровь.

– За погодой не угонишься – оправдываюсь я. – Вчера еще тепло было, я как раз за чаем ходила.

Страх рокошет сразу во всем теле, глушит и слепит, я бы ударила ее, но вспотевшие руки скользят по чашке. Почему мне так страшно? Кто она? Я ее знаю? Она пришла ко мне в дом, значит, я ее знаю. Надо вспомнить. Кто она? Соседка? Мамина крестная? Внучка бабушкиной подруги? Внебрачная дочь отца? Девушка брата? У меня есть брат? А отец? Ну, мама точно

есть. Мы любим курабье. Или не с ней? Я вообще люблю курабье? Стоп. Кто она? Вспоминай! Это важно! Кто она? Кто? Ну!

Мир сузился до ее лица. Резкие черты – нос острый, прямой, глаза чуть раскосые, но с широким разрезом, темная радужка. Смотри еще. Щеки впалые, на правой родинка. Видела такую? Вспоминай. Морщит лоб, вон какая линия между бровями. Умыть бы, посмотреть, какая на самом деле. Может, вспомнила бы. Глаза знакомые. Знакомые глаза. Вспомнила теперь? Поняла?

Узел дернулся, от боли перехватило дыхание.

Быть не может. Похожа просто. А родинка? Родинка! Помнишь? Смеялись, что нарисованная. Все парни ее будут. На щееечкее рооодинкаа, а в глазаааа любовь. Как? Как? Не может?.. Не может же? Ей сколько сейчас? Пять? Не больше. А этой? Сколько этой?

– Все хорошо? – спрашивает она, между бровей горбятся валики морщин, у глаз их целая сеточка, лет тридцать нужно, чтобы так изломать нежную кожицу, загрубеть ее, замучить.

Ерунда какая. Ей не может быть тридцать! Ей пять! Ну, шесть! Не больше. На той неделе я смотрела, как она малюет в цветастой прописи, и подливала вино в бокал той, что ее родила. Красное сухое и пачка курабье к нему. Черт!

Я слабо отталкиваюсь от стола, чашка звенит, но она ловит ее отработанным, взрослым жестом человека, привыкшего убирать за другими. Но я ничего не вижу. Я нафарширована раскалёнными кирпичами, залита тяжелой ртутью, просвечена фатальной дозой гамма-лучей. Меня нет. Я исчезла. Если ей тридцать. Если хоть на секунду поверить, что ей тридцать. То сколько мне? Мир застывает на мудацкой паузе, а я начинаю судорожно подсчитывать. Я начинаю вспо-ми-на-ть.

Как нюхала младенческую макушку и почти хотела себе такую же, но все откладывала и откладывала, приезжала смотреть, как она растет. Мы сидели на кухне. Смеялись оглушительно над всякой чушью. Буквально недавно. Вчера.

– Оставайся на ночь, – упрасивали они.

Обе. Взрослая и маленькая.

– У вас подъем в пять, – отнекивалась я, с трудом попадая в рукав пальто.

Мне хотелось домой, в тишину, в пыль и покой. Добраться, рухнуть на диван и проспаться до полудня. Обычный вечер субботы, ничего нового.

– Позвоню.

Прощаясь, я целовала четыре щеки.

– Приходи еще! – кричала мне пухленькая мелочь, выскакивая к лифту. – Еще приходи!

А теперь она, вымахавшая во взрослую бабу, измотанную, как все взрослые бабы, смотрит на меня, морща лоб, и если я еще не сошла с ума, то теперь уже готова, совсем готова, вот прямо сейчас и схожу. Разойдитесь все.

– Все хорошо? – переспрашивает она.

И мне хочется захохотать. Все плохо, милая. Если это ты. Значит, напротив тебя сижу я. Если тебе лет тридцать пять, голубушка, если ты – вот эта загнанная молодая тетка, с морщинами, плохим макияжем и дешевыми шмотками, значит, мне под семьдесят. Но как, скажи мне, как и куда делась прорва времени? Моего времени?

– Аня, – начинаю я. – Анечка...

Что-то в моем голосе меня выдает. Она откидывается назад, табуретка скрипит, мы обе вздрагиваем. От страха зрение становится чуть острее, и я выхватываю из темноты очертания кухни – сколотый край столешницы, съехавшую с петель дверцу шкафчика, покосившийся стеллаж. Плитка покрыта слоем запыленного жира, его капли застыли на стенах, две конфорки совсем заржавели, еще одной вовсе нет, на ее месте зияет провал. Моя кухня. Любимая моя, новенькая. Ни пылинки на тебе, ни жиринки. Что с тобой стало. Что со мной стало?

Аня хватает меня за руку. У нее сильные пальцы. Я помню, какими крохотными и мягонькими они были. Узел в животе ворочается, устраивается там поудобнее. Я заставляю губы растянуться в улыбке.

– Анечка, – говорю я, по-стариковски мелко киваю головой. – У меня все хорошо, ну чего ты? Чего перепугалась?

Соберись, дура ты старая. Улови тон, пойми, что ей нужно. Только не смотри на свои руки. Не смотри на них. Не смей смотреть. Они старые, они очень старые. Кожа потемнела, вены вылезли, костяшки набухли, болят, наверное, когда дождь. Все болит. Понятно теперь, почему. В баре она плясала, как же. Лежала на диване, старая перечница. Подыхала от ревматизма.

– Спала я сегодня тревожно.

Она расслабляет спину, облакачивается на стол, смотрит сочувствующе.

– Вы таблетки пьете?

Неопределенно пожимаю плечами. Знать бы еще от чего таблетки твои.

– А надо. Вы же знаете. Надо, – она поджимает губы. – Мама *тоже* все не пила и... сами знаете что.

Это ее *тоже*, осторожное, вкрадчивое, ввернутое на проверку, заставляет узел скрутиться с ослепительную петлю. Я задыхаюсь, сама не понимая, отчего. Стискиваю зубы. *Тоже*. Я не знаю, что она имеет в виду, но обильно потею от ужаса. В тапках начинает хлюпать. Как часто нужно пугаться, чтобы они оставались влажными изо дня в день. Почему я пугаюсь? Потому ли что *тоже* не пью таблетки, как Анина мама? Милая моя, сильная моя, могущая совладать с любой бедой мама Ани.

– Я пью, конечно, пью. Не волнуйся.

Врать легко, главное не отводить от нее глаз, чтобы случайно не увидеть свои руки, постаревшие кисти, одряхлевшие запястья, пальцы в старческих пятнах. Если увижу, то заору, и она все поймет. Узнает, что я *тоже*.

– Расскажи, как твои-то дела? – натужно улыбаюсь я, лишь бы не позволить тишине хлынуть в комнату. – На работе как? Дома?

Аня настороженно смотрит, выскивая приметы пагубной *тожеести*. Но я спокойна и непоколебима. Я – кремь. Я – скала. Я абсолютно нормальна. Одинокая, пожилая женщина. Не старая еще, ну, какие мои годы? Шестьдесят пять? Шесть? Восемь? Ерунда. Если не вспоминать, что вчера мне и сорока не было, то вполне себе хорошие годы. Бархатные, как сезон. Главное на руки не смотри, идиотка. Не смотри на руки. Она же все поймет. Она тут же вычислить, что ты *тоже*.

Смутно, как через пыльное окно, ко мне начинает пробиваться понимание. Не причины, не смысла – ощущения. Узел в животе – страх. Страх перед ней, пришедшей проверить. Узнать, я уже *тоже* или нет пока, еще держусь? А если да, что она сделает? Позвонит, куда следует. Самой ничего делать не нужно. Только заметить. Распознать, что началось, сушите весла. Старуха все. Старуха, как они теперь. *ТОЖЕ*.

Интересно, им раздадут брошюры? Социальные буклеты, листовки, справочные памятки, что делать, если ваш старик *тоже*. Куда звонить, чем отвлекать. Как потом обрабатывать его пыльную берлогу. Нет, это не передается от человека к человеку, механизм куда более сложный. К сожалению, мы пока не можем установить точно, как он запускается. Но фактов прямой передачи не установлено. Пустая предосторожность. Пройтись пару раз. Чистящей жидкостью, санитаром. Проветрить. Ничего сложного, просто, так спокойнее.

Главное вовремя распознать, что началось. Что вот эта милая старушка, как все они, *тоже*. Приносим свои соболезнования, но что вы хотите, возраст. Моей маме было семьдесят, когда она *тоже*. Ну, сами понимаете, кто-то раньше, кто-то позже. Закономерный процесс. Сходят себе с ума, потихонечку, не верят, что время их прошло. Я же еще молодой, кричат! Не

было! Не верю! Где мои годы! Куда вы их дели? Это все вы, чертовы дети, вы забрали их! Вы их забрали? Вы хотели вырасти, вы забыли, что ваша взрослость – это наша старость! Куда вы их дели мое время? Отдайте! Отдайте! Да что рассказывать, со всеми одно и *тоже*. Да, Анечка?

Молчу. Прячу руки под стол, стискиваю пальцы. Они отвечают ноющей болью. К дождю. Аня смахивает крошки с колен, поднимается. Смотрит внимательно, сканирует, выискивает признаки. Хрен тебе, Анечка. Пусть я и *тоже*, а хрен. Улыбаюсь ей. Встаю. Ноги подкашиваются, но я держусь.

– Я зайду через неделю, – медленно говорит Аня.

– Да не рвись, я ничего, справляюсь, – получается ненатурально, голос вздрагивает.

– Так надо. Раз в неделю. Надо, вы же знаете.

Знаю, теперь знаю. Прийти, проверить, не пора ли, как остальным, *тоже* на покой? Не пора. Еще не пора.

По коридору мы идем молча. Я хватаюсь за стены, Аня загребает носками пол. Дурацкая привычка, надо же, так и осталась. Было бы смешно, не будь так жутко. Жутью пропитаны сами стены, наше молчание, скрип ее дутой куртки, и щелчок, с которым она застегивает ботинки.

– Хорошего вечера, – прощается Аня.

Я вижу, как сворачиваются в кольцо кончики ее волос. Когда-то я целовала ее шейку сзади, там пахло молоком. Может быть, это было вчера. Или тридцать лет назад. Или вообще не было. Кто разберет? Если я, как и все, кто был тогда, жил тогда, ходил, думал, ждал, любил, пил вино и закусывал безвкусным курабье, *тоже*? Если все мы, как один. Все мы. Все. *Тоже*.

– Я не хотела ее сдавать. Маму... – шепчет Аня, хватаясь за ручку двери. – Но ведь она...

– *Тоже?*..

– Да, как все остальные. Понимаете? Вот вы еще держитесь... А она нет. Там все признаки на лицо были. А что, если это заразно? Если бы я... Если бы я *тоже*? У меня сын, он еще маленький. Мне нельзя... Неужели вы раньше не боялись?.. Ну, тех, которые *тоже*?..

Я молчу. Это проверка. Она сама не понимает этого, но проверка. Проживи я годы, что не прожила, разве вспомнила бы, как уже тогда боялась. Стать, как они. Стать *тоже*... *Тоже* старой? *Тоже* сумасшедшей? *Тоже* беспомощной? *Тоже* больной? *Тоже* доживающей? Как смотрела в грязный пол метро, лишь бы не встретиться с их водянистыми, жалобными глазами. Уступала место, лишь бы не почувствовать запах старого немытого тела. Как испытывала неизбывную вину перед ними. И безотчетное раздражение.

Это вы здорово выдумали, Анечка, прятать тех, кто стал *тоже*. Ссылать. Упекать. Бог знает, что вы там делаете. Главное не видеть, не знать, не жалеть, не злиться. И ни в коем случае, не становиться такими же. Поколением зарядки от айфона. Не заработавшими пенсию, не заслужившими любви.

– Вы меня осуждаете, – чуть слышно шепчет она, тянет на себя дверь и шагает прочь, пока еще не *тоже*, но все мы там будем, Анечка, все.

Дверь запирается на два замка и цепочку. Удивляюсь мимоходом, когда это успела повесить ее. У меня было время. Тридцать лет. Теперь я вспоминаю их. Тусклые проблески памяти. Аня росла. Мы выросли. Жизнь шла своим чередом. Те, кто старел перед нами, умирали. Потом мы *тоже* начали стареть.

Я возвращаюсь на кухню. Влажное курабье крошится в пальцах. Мои руки обтянуты пергаментом старой кожи, темные пятна на ней, как следы от пролитого кофе. Пока иду к дивану, вспоминаю, как пахла лавандой взбитая пенка рафа в киоске за углом.

Я еще надеюсь вернуть свои тридцать лет. Но они прошли. Сколько лавандового рафа я выпила, сколько коробок курабье залила вином? Кто целовал меня, кто приносил воды, кто звонил, увериться, что я в порядке? Чем наполнились эти годы, если я так легко забыла их? И вспомню ли теперь, в ожидании четверга, когда Аня поймет, что я *тоже*.

Потому что все мы *тоже*.

Когда-нибудь. Рано или поздно. Но обязательно.
Все мы *тоже*.

Принесите счет

Катя

На часах опасно замигало. 18.32. Катя обтерла рукой зеркало, мельком бросила на себя взгляд и тут же отвела. После обжигающего душа она стала красной и распаренной, глаза блестели лихорадочно, кончики пальцев сморщились, как у старухи. Поливать себя кипятком в первом триместре – та ещё забава, но удержаться Катя не смогла.

Вода била по плечам, отскакивала брызгами, пар окутывал тело, забивался в нос и рот, слепил глаза. Катя хватала воздух, пульс стучал в каждой клеточке тела, и она чувствовала себя защищено. Горячо, душно, щекотно и спокойно. Как нигде больше. Как ни с кем. И пахло здесь ментолом и ромашкой, ванилью и мятой, чем угодно, только не манго. Никакого сраного манго. Никогда.

Будильник, который она притащила с собой в ванну, запиликал в половине седьмого. Катя досчитала до пятидесяти и выключила воду. Стылая тишина ударила по ушам. Катя перелезла через бортик, распаренные ступни обожгло ледяным кафелем, и принялась методично обтирать себя полотенцем.

Она безжалостно скребла по ногам – лодыжки ещё худые, бедра пока упругие; по ягодцам – ни единой ямочки целлюлита; по животу – плоский, да что же ты сволочь такая, плоский? Вверх по набухшей груди, по потемневшим соскам, и дальше – шею, руки, в конце спину, пропустив полотенце через плечо и подмышку.

Катя привыкла считать своё тело, если не идеальным, то близким к тому. Часы в зале, километры, накрученные по дорожкам бассейна. Диета, детокс, массажи и обертывания. Все, чтобы быть ровней. Все, чтобы быть идеальной. А теперь единственное, о чем она могла мечтать, так это разойтись в боках, отрастить огромную грудь, арбузом надуть живот. Лишь бы внешнее наконец подтвердило внутренне. Но куда там. Тело, привыкшее к строгости, не желало набирать вес.

Катя бросила на себя взгляд и отвернулась с отвращением. Потом обтерла лицо тоником, так же не глядя, смазала кремом, и голая вышла в комнату.

Когда-то квартира вызывала в ней неудержимые приступы возбуждения. Стоило только ступить на холодный паркет, вдохнуть запах мужского парфюма – горечь и строгость, табачные нотки, немного дерева, увидеть, как поблескивает в темноте подвешенный на стену велосипед, стоимостью в приличную машину, и тут же хотелось стащить с себя одежду, вышагнуть из упавших на пол трусиков, разбежаться и прыгнуть, точно зная, что сильные руки поймают, притянут, сожмут.

А потом они будут лежать на холодном паркете, обмякшие и потные, как после стремительного кардио, а по телу разольется кристальная пустота. И четверть часа ей не придется держать лицо, отбивать колкости, выдумывать свои, жестко защищая границы. Не потому что ей этого хочется, а потому что он так любит. Потому что у них так заведено.

Они жили под гнетом негласных правил, так в их мире сохранялся тот самый мир. Овсянка на воде на завтрак, быстрый секс, если нет тренировки, работа для головы до обеда, на обед много белка, говорить об успехах, смеяться коротко и зло над неудачами, чужими, разумеется. Про свои ни слова. Свои Катя научилась быстро выплакивать под контрастным душем. Еще быстрее, чем доводить Глеба до короткой, но сильной разрядки, как он любит – молча, без одеяла, но закрыв глаза.

Она всему научилась, все смогла. С первого дня, как увидела его на подготовительных и решила, что он, широкий в плечах, узкий в бедрах, с серьезными глазами цвета графита и какой-то абсолютно детской улыбкой, будет ее. Когда эта улыбка исчезла, Катя не заметила. Спихватилось, но было поздно.

Поздно. Слово ее преследовало. Поздно учиться говорить с человеком, который приходит каждый вечер домой, чтобы утром уйти из дома. Поздно быть ему родной. Поздно искать в нем родного. Поздно узнавать, какой он на самом деле. Поздно рассказывать ему, какая на самом деле она. Даже ребенка рожать ему поздновато уже, не обманывай себя, глупая.

Детей Катя не любила. Чужих еще может быть. Племянников всяких, крестников, соседских карапузов. Когда можно умильно сюсюкать полчаса, а потом бежать домой, выдохнуть в лифте, слава Богу, что это не моя проблема. Катя дорожила своим подтянутым телом и свободой, которую даровала ей бездетность.

Осознание, что свобода эта принадлежит не только ей, но и ему, пришло сразу после свадьбы. Они вернулись с берегов теплого океана загоревшие, но чуть уставшие друг от друга. Держать лицо круглые сутки оказалось утомительно, раздражение разлилось между, запачкало все, даже простыни, которые их никогда не подводили. Катя выдохнула, когда Глеб уехал на работу, плюнув на джетлаг, и совсем не расстроилась, когда позвонил, мол, задержится допоздна. Весь день заказывала новые полотенца и коврики, выбирала шторы в спальню, решала, не передвинуть ли кухонный стол к окну. Глеб приехал, когда она уже спала. Завалился в постель. От него пахло уставшим телом и спелым манго, которые они привезли в подарок ребятам.

– Ты долго, – шепнула она, утыкаясь ему в плечо.

– К Янке заехал, – буркнул он и почти сразу добавил. – Фрукты завез. Испортятся же.

В этой поспешности, в тоне, с которым он начал оправдываться, хотя никогда прежде и не думал, уезжая без предупреждения, забывая про свидания и билеты в кино, скрывалось признание. Катя до утра смотрела в потолок, судорожно соображая. Перед глазами стояла Янка – полноватая в бедрах, растрепанная, с вечно просящим взглядом. Не прогоняйте меня, не обижайте, не смейтесь, я просто постою рядом, будто одна из вас. И ведь они позволяли ей! Пять лет учебы и после. Прощали глупости, несурзанности, косяк этот подзаборный на выпускном. Неужели она решилась? Столько времени смотрела издалека, не пробовала даже вступить в борьбу, а тут решилась?

Когда утро хлынуло в спальню через щелки жалюзи, Катя приняла два решения. Шторы будут насыщенно бежевые, почти песочные, тут солнечная сторона, получится красиво. Ну а Янка... Черт с ней, с дурой этой. Даже если что-то вчера случилось, уже наступил новый день. Новый день новой жизни.

Жизнь эта пошла своим чередом. Глеб работал в офисе, Катя – дома. По вечерам они ужинали, по выходным выбирались в центр, летом ездили к морю. Раз в два месяца встречались с друзьями. Катя бросала колкости, холодно улыбалась, выискивая в знакомых чертах мельчайшие изменения. Янка стремительно старела, на ее детское лицо будто накинули тонкую паутину первых морщин, приходилось кивать участливо, когда она говорила о маме. И на похороны поехать тоже пришлось. Костик толстел, пока незаметно, но лет через пять с ним будет кончено. Пузо опустится на ремень, залысины превратятся в лысины. Даже смешно вспоминать, как поперлась к нему однажды, мстить неверному мужу, пьяная до слюней, хорошо вовремя осознала, свела на шутку, уехала домой, а он потом смотрел глазами побитого пса до конца года, дебил. Дениска становился все молчаливее, серее как-то, его было даже жалко. Но лезть в душу не хотелось, мало ли какие там черти? Тут бы со своими разобраться. Они говорили о всякой ерунде, пили, натужно смеялись, в такси Катя прислонялась лбом к холодному стеклу, смотрела на проплывающий мимо город, и ей становилось так тоскливо, что щекотало в горле. До дома она успевала успокоиться. Время шло, жизнь вместе с ним.

А потом у Янки умерла мама. Отмучилась, бедолага, успев выпить последние соки из любимой дочурки. Хоронили ее все вместе, на Янку страшно было смотреть. Но Катя смотрела, сама удивляясь неожиданной злобе, поднимающейся к горлу. Обида, заглушенная за одну бессонную ночь, разгорелась с новой силой. И когда Глеб тащил безвольную Янку к такси после поминок, Катя стояла у края парковки и с упоением смотрела на ее сторбленную спину, опущенные плечи и стрелку, поехавшую на чулке от щиколотки к колену и дальше, под подол слишком узкой юбки. Язык вязало, будто Катя наелась хурмы, слюна собралась во рту, хотелось сплюнуть ее, но было неловко. Глеб усадил Янку в машину, наскоро поцеловал и поспешил обратно. Он был смущен, может, в первый раз за их долгую жизнь впятером. Сколько наслаждений может доставить минутная сцена, если ждал ее много лет! Катя впитывала картинку, ликуя, и сама боялась себя. Глеб подхватил ее под локоть, в последний момент Катя обернулась, Янка смотрела на них через пыльное стекло такси. Машина тронулась, и Янка исчезла в салоне. Катя сплюнула под ноги. Слюна была вязкой и белесой.

Когда они сделали это еще раз, Катя сразу все поняла. Глеб вернулся домой вовремя, немного помятый, но скорее уставший, чем возбужденный. Они поговорили о чем-то пустом, кажется, что курица пересохла в духовке, но с соусом ничего, пойдет. Катя никак не могла понять, чем это пахнет так странно, совсем не так, как должно пахнуть в самом начале столичной весны.

– У тебя гель для душа новый? – спросила она, когда Глеб улегся рядом, еще влажный, уже сонный.

– Да нет, тот же. – Быстро поцеловал ее в лоб и повернулся к стене. – Давай спать.

Катя сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. И вдруг узнала запах. Манго. Спелое, мягкое, помнящее жаркое солнце и теплый океан. То самое, привезенное в подарок.

Катя глотала злые слезы и все никак не могла заснуть, от бессонницы ее тошнило, утром вырвало. К вечеру сделала тест. Сидела на крае ванны, смотрела на медленно проявляющиеся полоски и думала, что хочет огурцов. Соленых, бочковых, воняющих старыми тряпками. Чтобы их затхлая вонь выбила из носа сладчайший аромат манго и чужого секса.

От таких новостей Глеб стал тихим и покорным. Не спорил, не злился, все больше молчал, но приезжал домой вовремя, сам готовил ужин, смотрел на нее удивленно, будто открывал заново, как напрочь забытый континент. Под его взглядом Кате хотелось разойтись в берегах, зашуметь лесами, заголосить в тысячу голосов райских птиц. Или просто стать безразмерной, отекающей и страшно беременной. Как можно скорее.

И уж тогда встретиться с дурой этой деревенской, с сироткой проклятой, ткнуть носом в надувшийся живот и сплюнуть ей под ноги мучноватой вязкой слюной.

Но Глеб решил, что ехать нужно сегодня. Засуетился, забегал, засобирался в офис до вечера.

– Встретимся там, не дави.

– Только приезжай вовремя, не хочу там одна... с ними...

Глеб кисло поморщился.

– С какими ними, киса? Друзья наши, считай, семья, не ворчи.

Катя промолчала, вытерпела контрольный в лоб, застыла в дверях, наблюдая, как он поправляет галстук. Гибкий, поджарый, вечно немного злой. Раньше эта злость возбуждала ее сильнее холодного паркета квартиры. Теперь она стала еще одним символом слабости, даже пахло от нее сладковато, как от манго. Сразу начинало тошнить.

– Мы же сегодня скажем им?

Глеб застыл, смахнул несуществующую пылинку с пиджака.

– Как хочешь.

Щелкнул замок. И Катя пошла в душ.

Глеб

Мало что в жизни Глеб любил больше своего кабинета. Четкие границы, отмеренные четырьмя стенами, широкое окно с видом на ухоженный сквер – приятно глазу, а шум не пропустит европакет, холодные тона, темное дерево, широкий монитор, эргономичное ведерко системного блока с надкушенным яблоком. Глеб провел ладонью по столешнице, поправил стопку подписанных бумаг, проверил, в нужных ли местах оставил пометки красным маркером, в нужных, конечно, в нужных, и откинулся на спинку кресла.

Этот момент, когда дела закончены, а в офисе стоит кристальная тишина, обычно подпитывал Глеба острой и холодной силой. Он ощущал себя хозяином не только кабинета, но и всей фирмы, всего здания, целой улицы, этого города, а главное – своей жизни. Это потом приходилось покидать удобное кресло, выходить наружу в эту пыль и гомон, толкаться в пробках, спешить домой, подгоняемый звонками Кати, стремительно набирающей вес, а с ним и право раздражаться, но не раздражать.

Только эти минуты, проведенные в тишине и удовлетворении, принадлежали ему одному. В голове становилось пусто и тихо, каждая мысль находилась на своем месте, заботы растворялись, злость проходила. Глеб вдыхал тишину и выдыхал спокойствие, а потом вставал и ехал домой, почти всемогущий, зарядивший внутренний аккумулятор.

Самое важное он решал в тишине кабинета. О слиянии с конкурентом и Катей. С одним – на бумагах, с другой – на самом деле. С конкурентом вышло на удивление хорошо, с Катей – как-то никак. Из колкой красотищи она превратилась в унылую и вялую бабу с ворохом придирок и тупеющих острот.

Глеб все понял за две недели у теплого океана, почти взвыл, чувствуя, как горит в паспорте свежая печать, заметался, чуть не утонул, а приехав в Москву тут же рванул к Янке – жаловаться. С ней всегда было спокойно и тепло. Не-нап-ряж-но.

Он вывалил на кухонный стол пахнущие медом и хвоей фрукты, с ходу выдал заготовленную еще в самолете байку о муках джетлага и сел на скрипучий табурет. Маленькая двушка в Бирюлево была слишком тесной для него, но в этой тесноте ему вдруг стало по-детски уютно.

– Ты, когда улыбаешься, прямо школьник сразу, – заметила Янка, подпирая кулаком щеку. – Ну чего случилось?

– А Елена Павловна где?

В квартире и правда было как-то совсем тихо, не бормотал телевизор, не шаркали тапочки.

– В стационар положили, – нехотя ответила Янка и тут же замахала руками. – Не хочу говорить, давай ты.

И он начал. Про печать и страх, про внезапную глупость, про чрезмерно упругий пресс и слишком острый язык. Янка слушала молча, хмурилась, кусала заусенец на мизинце. Глеб все ждал, когда же она начнет его костерить, обзывать зажавшимся идиотом не стоящим и ногтя жены, за этим и приехал. Но Янка молчала, а когда он выдохся и растеряно посмотрел на нее, то встала, взяла его за руку и повела к себе в спальню.

Там она его, конечно, ничем не удивила. Может только слезами, когда все закончилось. И тем, как вытолкала за порог, не глядя, не слушая. Глеб надеялся, что она позвонит, сам порывался приехать и объяснить, но не находил слов. А когда встретились в следующий раз, за общим столом в подвальном ресторанчике, понял, что слов Янка от него и не ждала. Чего-то другого, да. А слов ей не нужно.

На следующий день, сидя в тишине кабинета, Глеб пообещал себе, что никогда больше так не ошибется. И держался, долго держался. Пока не умерла Елена Павловна. Все вздохнули с

облегчением, болела она мучительно долго, обирая Янку, превращая ее в жалкое подобие себя прежней. Хоронили ее вместе, будто и правда семья. Сажая Янку в такси, Глеб не удержался и поцеловал, из дурацкого сострадания, а та ответила, забилась, разожглась. И пришла к нему, прямо сюда, в святую святых его тишины. Как было отказать ей?

Еще и встреча на носу. Раздражающий зуд неотвратимости. Глухая злоба на себя, прогнувшегося перед обстоятельством, и на тех, кто это обстоятельство создал. Ресторан Глеб выбирал сам, время тоже назначил он, просто поставил всех перед фактом:

– Встречаемся послезавтра в 20.00, – написал в чат телеграма, надеясь, что все будут заняты, встреча отложится, а там и еще раз, и еще. – Куда подъезжать скину картой.

И погасил экран. Телефон молчал блаженные две минуты. Потом затрясся новыми сообщениями.

– Как раз послезавтра могу, ура! – писал Костик.

Черт.

– Я освобожусь в 19.30, постараюсь успеть, – Денис смотрел с круглой аватарки серьезно и печально, эмо недобитый, прости Господи.

– Хорошо, – коротко черкнула Янка, на нее Глеб смотреть не стал, снова щелкнул по телефону, отложил в сторону.

Ответа Кати можно было не ждать, та никогда не отвечала ему в сети, чтобы все понимали – она скажет лично, смотря в глаза. Будто сама смогла бы вспомнить, когда в последний раз они не отводили взгляды, случайно пересекшись ими во время ужина.

И вот теперь нужно было ехать. Держать лицо, улыбаться едко, хохотать громко, шутить остро. Опускать ладонь на колено жены, подливать ей вина... Хотя нет, вино в этот раз она пить не станет.

В животе у Глеба что-то ухнуло, тоскливо зануло. Он поправил галстук, глянул на часы – 18.50, пора выдвигаться, рывком встал с кресла, похлопал по карманам, проверяя, где ключи и бумажник. Перед дверью засуетился, самому тошно стало. Все, лишь бы не бросить короткий взгляд на диван, примостившийся в углу.

Широкий, кожаный, блестящий. Скрипучий, когда об него трется обнаженная спина, а потом мягкий живот и тяжелая грудь с острыми сосками. Диван цвета горького шоколада, тон в тон с растрепанными кудрями, которые рассыпались по нему блестящей копной. А потом Глеб собрал их и намотал на кулак, потому что она так захотела.

Глеб закашлялся, обтер мигмом вспотевший лоб, вышел из кабинета и захлопнул дверь, жалея, что память за ней не оставишь.

Янка

Расческа взяла зубцами в кудрях, рвала волосы, застревала намертво. Янка пыталась осторожно выпутать ее, но получалось плохо, даже рука затекла. Стоило выпустить прорезиненную рукоятку из пальцев, как щетка повисла, больно натянула волосы. Янка зажмурилась и дернула.

– Не рви так! – беззвучно попросила мама. – Дай, я сама.

Янкины волосы мама любила. Подкрадывалась среди ночи, утыкалась в макушку, вдыхала их запах, гладила осторожно, шептала что-то неразборчиво. Янка так привыкла к ее полуночным бдениям, что и не просыпалась толком. Переворачивалась на другой бок, освобождая место рядом, и возвращалась в сон. И только спиной чувствовала прикосновение теплой маминой груди, ее руки и сладковатый аромат лаванды – мама перекладывала засушенными веточками ночные рубашки, говорила, так ей слаще спится.

Когда на шестую ночь после похорон Янка сквозь сон почувствовала знакомый цветочный дух, а кровать мягко скрипнула, принимая вес маминого тела, поначалу не испугалась. Подумала только, мол, хорошая ночь сегодня, маме не больно, вот, пришла ко мне. Мысль, что мама умерла, ослепила вспышкой, примяла к матрасу взрывной волной, оглушила грохотом сердца, выпрыгивающего из грудины.

Янка вскочила с кровати, упала, на четвереньках выползла в коридор, захлопнула дверь, приперла ее спиной, задышала часто, хрипло.

Как успела схватить из-под подушки телефон, и сама не поняла, но успела. Свет дисплея разорвал темноту, страх отступил, на смену ему пришла соленая вода. Всхлипывая, Янка набрала вызубренный еще на первом курсе номер. Посмотрела на имя, представила, как его обладатель крепко спит на прохладных простынях, по правую руку край высокой кровати, по левую – любимая жена, поджарая, как породистая гончая. Стерла номер. Набрала другой.

Денис ответил на второй гудок, будто не спал, а ждал ее звонка. Или не ее.

– Да?

– Ко мне мама приходила, – не думая, выдохнула Янка, зубы застучали так, что пришлось поджать язык, чтобы не прикусить.

Денис помолчал.

– Девять дней же...

И правда, девять. Три первых исчезли в туманном мороке, Янка силилась вспомнить, но не выходило. Только лицо Глеба всплывало иногда из багровых туч, застилающих всех и каждого. Даже гроба Янка не запомнила, даже поминок. Долго потом не могла понять, почему ладонь в земле. Терла ее под водой, сгорбившись у раковины в туалете, слишком помпезном для места ритуальных обедов.

Смылась ли грязь? Кто выбирал зал, меню, вкусно ли было, говорила ли она что-то, стискивая в пальцах холодную рюмку? Ничего не запомнилось. Только серебристое такси, в которое ее усаживал Глеб, бережно положив ладонь на макушку, чтобы не ударились. А потом наклонился и поцеловал. В губы, коротко и сухо. Она тут же ответила, мигом приходя в себя, но Глеб уже распрямился, хлопнул дверью, мол, трогай. Таксист послушно тронул. Янка вывернулась шею. Глеб уже подхватил жену за острый локоток и уводил с парковки. Он не обернулся, а вот Катя – да. Они встретились глазами. Тогда-то Янка и поняла – Катя все знает. И решила, что точно повторит.

И повторила, Боже мой, конечно, повторила. Если делаешь что-то запретное один раз, то обязательно решишься на второй. Потому что точка невозврата осталась позади, а мир не рухнул. Ничего, по сути, не изменилось. Только в памяти появилась дверца, за которой

пылает, воеет, люет безумный, животный, нездешний восторг. И, если ночью станет совсем уж холодно, можно подойти, прижаться щекой к обратной стороне этой дверцы и различить за ней свое дыхание, его шепот и скрип дивана, кожа об кожу, горький шоколад и коньяк. Обогреться немного об их жар и уснуть.

Ну что поделать, если Катя встретила его первой? Еще на курсах для поступления, вцепилась сильной рукой, притянула к себе, обхватила крепкими бедрами? Что поделать, если тут же пошла с ним во все секции, записалась в бассейн, научилась говорить с легким презрением о фастфуде? А может, она всегда такой была, Яна не знала. Она появилась чуть позже, приблизилась к ним. Домашняя девочка – копна кудрей, тревожная мама на телефоне. Это Глеб ее принял, благосклонно взял под свое крыло. Она им лабораторные, они ей дружбу. Веселые пьянки до рассвета, хмельные утра в квартире Глеба, по которой она ходила, как по музею, застывая на носочках, боясь вдохнуть. Потому что все там было Глебом. Все эти странные картинки на стенах, холодный паркет, горный велосипед на стене, стеллажи дисков, только хорошее кино, Янка, хорошее, понимаешь? Она не понимала, но соглашалась. А Катя наблюдала за ними с видом человека, победившего войну раньше, чем та началась.

– Ну, зачем он тебе? – спрашивала мама, пока Катя выла, закусив картонный край открытки, зовущей ее на чужую свадьбу.

Нужен.

– Ну, зачем он тебе? – спрашивал Денис, наливая ей кофе, когда она приехала к нему с искусанными губами, под утро, шальная от восторга, чующая, как пахнет от нее горьким потом, наглаженными простынями и заморскими фруктами, которые Глеб привез ей из далеких островов.

Нужен.

– Ну, зачем я тебе? – спросил Глеб, а она уже закрыла его кабинет на ключ.

В сумочке лежали документы на мамину квартиру в Питере. Полгода растянулись на чертову вечность, за нее Катя успела решить, что уедет, уедет, как только выправит все бумажки, уедет и заберет Глеба с собой.

– Нужен, – прохрипела Янка, падая на кожаный диван, пока он расстегивал пуговицы на ее блузке.

Все случится сегодня, сразу после ужина. Она попросит Глеба задержаться. Повод не важен, он все поймет по глазам. Все поймут, да и к черту их. Вот ключи, вот два билета. Развод можно оформить по сети. Ничего не бойся, хороший мой. Я выживала два года, таская маму по онкологичкам. И выжила. Я теперь все смогу. И тебя из Катиных цепких рученок, тоже. Ничего не бойся, только поехали, милый. Поехали. Мы никому не скажем. Дениске, может, только. А он умеет держать язык за зубами. Уж он-то умеет. Мы просто исчезнем. Навсегда.

Руки дрожали, пока Янка застегивала блузку, ту самую, с пуговками. Так и не досчиталась трех, когда вернулась от Глеба, пришлось все перешивать. Они посмеются над этим, когда сядут в самолет. Обязательно посмеются. Ведь посмеются же, мам?

Мама молчала. Пахло пылью и одиночеством. Янка глянула время – 19.02, можно не спешить, выключила свет и вышла из пустой квартиры. Новые жильцы должны въехать завтра. Завтра. В первый день ее новой жизни.

Денис

Надо вставать. Вставать. Вставать. Вста-ва-ть.

Этот последний звук – глухое «тэ», превращенное в мягкое «ть», било в висок, будто мяч для настольного тенниса. Таким они часами могли перебрасываться в подвальчике университетского спортзала. Мячик отскакивал от ракетки, бился об правую сторону стола, перелетал через сетку, еще один удар о стол и снова ракетка. И так по кругу. И еще по одному. И еще.

Глеб играл резко, пыхтел, отбегал в сторону, опирался грудью на стол, мелко подпрыгивал, в его натренированном теле было слишком много сил для этой странной игры. Ракетка скрипела пальцах, мышцы напрягались, он чертыхался, пропуская мячик, посылал их на хрен и уходил.

И они оставались вдвоем. Денис и Костя. Костя и Денис. Играли молча, без напряжения, слаженно, как две части одного механизма. Медитация уровня дзен. Мячик бился о ракетку, о стол, летел через сетку, опять о стол, опять о ракетку. Чтобы снова о стол и ракетку, стол и над сеткой, о стол и ракетку. О стол. Через сетку. О стол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.